

Азбука
PREMIUM
РУССКАЯ ПРОЗА

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Под знаком незаконно- рожденных



Санкт-Петербург

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44
Н 14

Vladimir Nabokov
BEND SINISTER
Copyright © 1947, Vladimir Nabokov
All rights reserved

Перевод с английского Сергея Ильина

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

ISBN 978-5-389-12657-2

© С. Ильин, перевод, 2017
© Издание на русском языке,
оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

Предисловие к 3-му американскому изданию романа

«Под знаком незаконнорожденных» был первым романом, написанным мной в Америке, и произошло это спустя полдюжины лет после того, как она и я приняли друг дружку. Большая часть книги написана зимой и весной 1945–46 годов, в особенно безоблачную и полную ощущения силы пору моей жизни. Здоровье мое было отменным. Ежедневное потребление сигарет достигло отметки четырех пачек. Я спал по меньшей мере четыре-пять часов, а остаток ночи расхаживал с карандашом в руке по тусклой квартирке на Крейги-секл, Кембридж, Массачусетс, где я обитал пониже старой дамы с каменными ногами и повыше дамы молодой, обладательницы сверхчувствительного слуха. Ежедневно, включая и воскресенья, я до 10 часов проводил за изучением строения некоторых бабочек в лабораторном раю Гарвардского музея сравнительной зоологии, но три раза в неделю я оставался там лишь до полудня, а после отрывался от микроскопа и от камеры-люцида, чтобы отправиться (трамваем и автобусом или подземкой и железной дорогой) в Уэльслей, где я преподавал девушкам из колледжа русскую грамматику и литературу.

Книга была закончена теплой дождливой ночью, более или менее похожей на ту, что описана в конце

восемнадцатой главы. Мой добрый друг Эдмунд Уилсон прочитал типоскрипт и рекомендовал книгу Аллену Тейту, с чьей помощью она и вышла в 1947 году в издательстве «Holt». Я был глубоко погружен в иные труды, но тем не менее расслышал, как она глухо шлепнулась. Похвалили ее, сколько я помню, лишь два еженедельника — кажется, «Time» и «New Yorker».

Термин «bend sinister» обозначает в геральдике полосу или черту, прочерченную слева (и по широко распространенному, но неверному убеждению обозначающую незаконность рождения). Выбор этого названия был попыткой создать представление о силуэте, изломанном отражением, об искажении в зеркале бытия, о сбившейся с пути жизни, о зловеще левеющем мире. Изъян же названия в том, что оно побуждает важного читателя, ищущего в книге «общие идеи» или «человеческое содержание» (что по преимуществу одно и то же), отыскивать их и в этом романе.

Мало есть на свете занятий более скучных, чем обсуждение общих идей, привносимых в роман автором или читателем. Цель этого предисловия не в том, чтобы показать, что «Под знаком незаконнорожденных» принадлежит или не принадлежит к «серьезной литературе» (что является лишь эвфемизмом для обозначения пустой глубины и всем любезной банальности). Я никогда не испытывал интереса к так называемой литературе социального звучания («великие книги» на журналистском и торговом жаргоне). Я не отношусь к авторам «искренним», «дерзким», «сатирическим». Я не дидактик и не аллегорист. Политика и экономика, атомные бомбы, примитивные и абстрактные формы искусства, Восток целиком, признаки

«оттепели» в Советской России, Будущее Человечества и так далее оставляют меня в высшей степени безразличным. Как и в случае моего «Приглашения на казнь», с которым эта книга имеет очевидное сходство, — автоматическое сравнение «Под знаком незаконнорожденных» с твореньями Кафки или штамповками Оруэлла докажут лишь, что автомат не годится для чтения ни великого немецкого, ни посредственного английского автора.

Подобным же образом влияние моей эпохи на эту мою книгу столь же пренебрежимо мало, сколь и влияние моих книг или, по крайней мере, этой моей книги на мою эпоху. Нет сомнения, в стекле различимы кое-какие отражения, непосредственно созданные идиотическими и жалкими режимами, которые всем нам известны и которые лезли мне под ноги во всю мою жизнь: мирами терзательств и тирании, фашистов и большевиков, мыслителей-обывателей и бабуинов в ботфортах. Нет также сомнений и в том, что без этих мерзостных моделей я не смог бы наспиговать эту фантазию кусками ленинских речей, ломтями советской конституции и комками нацистской лжерасторопности.

Хотя система удержания человека в заложниках так же стара, как самая старая из войн, в ней возникает свежая нота, когда тираническое государство ведет войну со своими подданными и может держать в заложниках любого из собственных граждан без ограничений со стороны закона. Совсем уж недавним усовершенствованием является искусное использование того, что я назову «рукояткой любви», — дьявольский метод (столь успешно применяемый Советами), посредством которого бунтаря привязывают

к его жалкой стране перекрученными нитями его же души и сердца. Стоит отметить, впрочем, что в «Под знаком незаконнорожденных» молодое пока еще полицейское государство Падука, в котором некоторое тупоумие является национальной особенностью населения (увеличивающей возможности бестолковщины и неразберихи, столь типичных, слава богу, для всех тираний), — отстает от реальных режимов по части успешного применения этой рукоятки любви, которую оно поначалу довольно беспорядочно нащупывает, теряя время на ненужное преследование друзей Круга и лишь по случайности уясняя (в пятнадцатой главе), что, захватив его ребенка, можно заставить его сделать все, что угодно.

На самом деле рассказ в «Под знаком незаконнорожденных» ведется не о жизни и смерти в гротескном полицейском государстве. Мои персонажи не «типы», не носители той или иной «идеи». Падук, ничтожный диктатор и прежний одноклассник Круга (постоянно мучимый мальчишками и постоянно ласкаемый школьным сторожем); агент правительства д-р Александер; невыразимый Густав; ледяной Кристалсен и невезучий Колокололителейщиков; три сестры Бахофен; фарсовый полицейский Мак; жестокие и придурковатые солдаты — все они суть лишь нелепые миражи, иллюзии, гнетущие Круга, пока он недолго находится под чарами бытия, и безвредно расточающиеся, когда я снимаю заклятье.

Главной темой «Под знаком незаконнорожденных» является, стало быть, биение любящего сердца Круга, мука напряженной нежности, терзающая его, — и именно ради страниц, посвященных Давиду и его отцу, была написана эта книга, ради них и стоит ее

прочитать. Другие две темы сопутствуют главной: тема тупоумной жестокости, которая вопреки собственным целям уничтожает нужного ей ребенка и сохраняет ненужного; и тема благословенного безумия Круга, когда он внезапно воспринимает простую сущность вещей и осознает, но не может выразить в словах этого мира, что и он, и его сын, и жена, и все остальные суть просто мои капризы и проказы.

Выношу ли я какое-либо суждение, произношу ли какой-нибудь приговор, удовлетворяю ли я чем-нибудь моральному чувству? Если одни скоты и недоумки способны наказывать других недоумков и скотов и если понятие преступления еще сохраняет объективный смысл в бессмысленном мире Падука (а все это очень сомнительно), мы можем утверждать, что преступление наказуется в конце книги, когда облаченным в форму восковым персонам наносится настоящий вред, когда манекенам и впрямь становится очень больно, и хорошенькая Мариэтта тихо кровоточит, пронзенная и разорванная похотью сорока солдат.

Фабула романа зарождается в дождевой луже, яркой, словно прозрачный бульон. Круг наблюдает за ней из окна больницы, в которой умирает его жена. Продолговатая лужица, похожая формой на клетку, готовую разделить, субтематически вновь и вновь возникает в романе, появляясь в виде чернильного пятна в четвертой главе, кляксы в главе пятой, пролитого молока в главе одиннадцатой, дрожащей, напоминающей обликом инфузорию, реснитчатой мысли в главе двенадцатой, следа от ноги фосфоресцирующего островитянина в главе восемнадцатой и отпечатка, оставляемого живущим в тонкой ткани пространства, —

в заключительном абзаце. Лужа, снова и снова вспыхивающая, таким образом, в сознании Круга, остается связанной с образом его жены не только потому, что он разглядывал вставленный в эту лужу закат, стоя у смертного ложа Ольги, но также и потому, что эта лужица невнятно намекает ему о моей с ним связи: она — прореха в его мире, ведущая в мир иной, полный нежности, красок и красоты.

И сопутствующий образ, еще красноречивее говорящий об Ольге, это видение, в котором она совлекает с себя — себя саму, свои драгоценности, ожерелье и тиару земного существования, сидя перед сверкающим зеркалом. Это картина, возникающая шестикратно в продолжение сна, среди струистых, преломляемых сновидением воспоминаний отрочества Круга (пятая глава).

В мире слов паронимазия есть род словесной чумы, прилипчивая болезнь; неудивительно, что слова чудовищно и бездарно искажаются в Падукграде, где каждый представляет собой анаграмму кого-то еще. Книга кишит стилистическими искажениями, каламбурами, скрещенными с анаграммами (во второй главе русская окружность, «круг», преобразуется в тевтонский огурец, «gurg», с добавочной аллюзией на Круга, обращающего свое хождение по мосту), подмигивающими неологизмами («аморандола» — местная гитара), пародиями на повествовательные клише («до ушей которого донеслись последние слова» и «видимо, бывший главным у этих людей», вторая глава), спунеризмами («наука» и «ни звука», играющие в чехарду в семнадцатой главе) и, конечно, гибридизацией языков.

Язык страны, на котором говорят в Падукграде и Омибоге, равно как и в долине Кура, в Сакрских горах и в окрестностях озера Малёр, — это дворняжичья помесь славянских языков с германскими, значительно отягощенная текущей в ней наследственной струей древнего куранианского (особенно ощутимой в выражениях горя); однако разговорные русский и немецкий также используются представителями всех слоев населения — от неотесанных солдат-эквилистов до несомненных интеллигентов. Эмбер, к примеру, в седьмой главе предлагает своему другу образчик первых трех строк монолога Гамлета (акт III, сцена I), переведенных на просторечие (с псевдоученым истолкованием первой фразы, связующим ее с замышляемым убийством Клавдия: «быть или не быть убийству?»). Он дополняет его русской версией части рассказа Королевы из акта IV, сцена VII (также не без встроенной схолии), и превосходным русским переводом прозаического куса из акта III, сцена II, начинающегося словами: «Would not this, Sir, and a forest of feathers...» Проблемы перевода, плавного перехода от одного языка к другому, семантической прозрачности податливых слоев ускользающего или завуалированного смысла столь же характерны для Синистербада, сколь валютные проблемы для других, более привычных тираний.

В этом обезумевшем зеркале террора и искусства псевдоцитата, сооруженная из темных шекспирианизмов (третья глава), каким-то образом порождает, несмотря на отсутствие у нее буквального смысла, размытый, уменьшенный образ акробатического представления, так славно венчающего бравурный финал следующей главы. Ямбические случайности, набранные

наугад в тексте «Моби Дика», являются в обличье «знаменитой американской поэмы» (двенадцатая глава). Если «астроном» и его «комета» из пустой официальной речи (четвертая глава) поначалу воспринимаются вдовцом как «гастроном» и его «котлета», это связано с прозвучавшим перед тем случайным упоминанием о муже, потерявшем жену, затуманивающим и искажающим следующую фразу. Когда Эмбер вспоминает в третьей главе четыре романа-бестселлера, сметливый пассажир, обладатель сезонного билета, сразу же замечает, что три названия из четырех грубо слагаются в туалетный призыв не пользоваться Сливом, Когда поезд проходит По городам и деревням, тогда как четвертое глухо напоминает о скверном романе Верфеля «Песня о Бернадетте» — наполовину облатка причастия, наполовину леденец. Подобным же образом в начале шестой главы, где упоминаются кой-какие иные популярные романы тех дней, легкий сдвиг в спектре значений заменяет «Унесенных ветром» (утянутых из «Цинары» Доусона) «Отброшенными розами» (крадеными из того же стихотворения), а слияние двух дешевых романов (Ремарка и Шолохова) порождает изящное «На Тихом Дону без перемен».

Стефан Малларме оставил три или четыре бессмертных багателя, и среди них «L'Après-Midi d'un Faune»¹ (первый набросок датируется 1865 годом). Круга преследует одно место из этой чувственной эклоги, где фавн порицает нимфу, вырвавшуюся из его объятий: «...sans pitié du sanglot dont j'étais encore ivre» («...отвергнув спазм, которым я был пьян»).

¹ «Послеполуденный отдых фавна» (фр.).

Осколки этой строки, словно эхо, перекликаются по книге, неожиданно возникая, например, в горестном вопле «malarma ne donje» д-ра Азуреуса (четвертая глава) и в «donje te zankoriv» извиняющегося Круга, когда он в той же главе прерывает поцелуй университетского студента и его маленькой Кармен (предвещающей Мариэтту). Смерть — это тоже безжалостное разъятие; тяжкая чувственность вдовца ищет разрешения в Мариэтте, но едва успевает он алчно стиснуть ляжки случайной нимфы, которой готов насладиться, как оглушительный стук в дверь прерывает пульсирующий ритм навсегда.

Могут спросить, достойно ли автора изобретать и рассказывать по книге эти тонкие вешки, самая природа которых требует, чтобы они не были слишком видны. Кто удосужится заметить, что потасканный старый погромщик Панкрат Цикутин (тринадцатая глава) — это Сократова отравка; что «the child is bold» в аллюзии на эмиграцию (восемнадцатая глава) — это стандартное предложение, посредством которого проверяют умение читать у будущих американских граждан; что Линда все же не прикарманила фарфорового совенка (начало десятой главы); что мальчишки во дворе (седьмая глава) написаны Солом Штейнбергом; что «другой русалочий отчет» — это Джеймс Джойс, автор «Winnipeg Lake» (ibid.), и что последнее слово книги вовсе не является опечаткой (как предположил один из чтецов)? Большинство вообще с удовольствием ничего не заметит; доброжелатели приедут на мой пикничок с собственными символами, в собственных домах на колесах и с собственными карманными радиоприемниками; иронисты укажут на роковую тщету моих пояснений в этом предисловии

и посоветуют впредь использовать сноски (определенного сорта умам сноски кажутся страшно смешными). В конечный зачет, однако, идет только личное удовлетворение автора. Я редко перечитываю мои книги, да и то лишь с утилитарными целями проверки перевода или нового издания; но, когда я вновь прохожу через них, наибольшую радость мне доставляет попутное щебетание той или этой скрытой темы.

Поэтому во втором абзаце пятой главы появляется первый намек на кого-то, кто «в курсе всех этих дел», — на таинственного самозванца, использующего сон Круга для передачи собственного причудливого тайнописного сообщения. Этот самозванец не венский шарлатан (на все мои книги следовало бы поставить штампик: «Фрейдистам вход запрещен»), но антропоморфное божество, изображаемое мною. В последней главе книги это божество испытывает укол сострадания к своему творению и спешит вмешаться. Круг во внезапной лунной вспышке помешательства осознает, что он в надежных руках: ничто земное не имеет реального смысла, бояться нечего и смерть — это всего лишь вопрос стиля, простой литературный прием, разрешение музыкальной темы. И пока светлая душа Ольги, уже обретшая свой символ в одной из прежних глав (в девятой), бьется в мокром мраке о яркое окно моей комнаты, утешенный Круг возвращается в лоно его создателя.

Владимир Набоков
9 сентября 1963 года
Монтрё

Продолговатая лужа вставлена в грубый асфальт; как фантастический след ноги, до краев наполненный ртутью; как оставленная лопатой лунка, сквозь которую видно небо внизу. Окруженная, я замечаю, распяленными щупальцами черной влаги, к которой прилипло несколько бурых хмурых умерших листьев. Затонувших, стоит сказать, еще до того, как лужа ссохлась до ее настоящих размеров.

Она лежит в тени, но вмещает образчик далекого света с деревьями и четою домов. Приглядишься. Да, она отражает кусок бледно-синего неба — мягкая младенческая синева — молочный привкус во рту: у меня была кружка такого же цвета лет тридцать пять назад. Она отражает и грубый сумбур голых ветвей, и коричневую вену потолще, обрезанную ее кромкой, и яркую поперечную кремовую полосу. Вы кое-что обронули, вот, это ваше, кремовый дом вдалеке, в сиянии солнца.

Когда ноябрьский ветер в который раз пронимает льдистая дрожь, зачаточный водоворот собирает блеск лужи в складки. Два листа, два трискалиона,

как два дрожащих трехногих купальщика, разбегаются, чтоб окунуться, рвение заносит их в середину лужи, и там, внезапно замедлив, они плывут, став совершенно плоскими. Двадцать минут пятого. Вид из окна больницы.

Ноябрьские деревья — тополи, я полагаю, — два из них растут, пробивая асфальт: все они в ярком холодном солнце, в яркой роскошно мохнатой коре, в путаных перегибах бесчисленных глянцевых веток, старое золото, — потому что там, вверху, им достается больше притворно сочного солнца. Их неподвижность спорит с припадочной зыбью вставного отражения, ибо видимая эмоция дерева — в массе его листвы, а листьев осталось, может быть, тридцать семь, не больше, с одного его бока. Они немного мерцают, легкий приглушенный тон, солнце доводит их до того же иконного лоска, что и спутанные триллионы ветвей. Бледные облачные клочья пересекают обморочную небесную синеву.

Операция была неудачной, моя жена умрет.

За низкой изгородью, под солнцем, в яркой окоченелости, сланцевый фасад дома обрамляют два боковых кремовых пилястра и широкий пустынный бездумный карниз: глазурь на залежавшемся в лавке пирожном. День вычернил окна. Их тринадцать; белая решетка, зеленые ставни. Все очень четко, но день протянет недолго. Что-то мелькает в черноте одного из окон: вечная домохозяйка — распахни, как говаривал во дни молочных зубов мой дантист, док-

тор Воллисон, — открывает окно, что-то вытряхивает, а теперь можешь захлопнуть.

Другой дом (справа, за выступающим гаражом) уже целиком в позолоте. Многорукие тополя отбрасывают на него алембики восходящих полосатых теней, заполняя пустоты между своими полированными черными распяленными и кривыми руками. Но все это блекнет, блекнет, она любила сидеть в поле, писала закат, который не станет медлить, и крестьянский ребенок, очень маленький, тихий и робкий, при всей его мышинной настырности, стоял у ее локтя и глядел на мольберт, на краски, на мокрую акварельную кисточку, заостренную, как жало змеи, но закат ушел, побросав в беспорядке багровые останки дня, сваленные абы как, — развалины, хлам.

Пегую поверхность того, второго дома пересекает наружная лестница, и окошко мансарды, к которой она ведет, стало теперь таким же ярким, какой была лужа, — она же теперь обратилась в хмурую жидкую белизну, рассеченную мертвой чернотой, — бесцветная копия виденной недавно картины.

Мне, верно, никогда не забыть унылой зелени узкой лужайки перед первым домом (к которому боком стоит пятнистый). Лужайки одновременно растрепанной и лысоватой, с пробором асфальта посередине, усыпанной тусклыми бурыми листьями. Краски уходят. Последнее зарево тлеет в окне, к которому еще тянется лестница дня. Но все кончено, и если в доме зажгут свет, он умертвит то, что осталось от дня снаружи. Ключья облаков пылают телесно-розовым,

и триллионы ветвей обретают необычайную четкость; а внизу красок уже не осталось: дома, лужайка, ограда, вид между ними — все ослабело до рыжевато-седого. Нет, стекло лужи становится ярко-лиловым.

Свет зажгли в том доме, где я, и вид в окне умер. Все стало чернильно-черным с бледно-синим чернильным небом, — «пишут черным, расплываются синим», как обозначено на склянке чернил, но здесь не так, не так расплывается небо, но так пишут деревья триллионами их ветвей.

Круг стал в проеме дверей и глянул вниз на ее запрокинутое лицо. Движение (пульсация, свечение) этих черт (мятые складки) причинялось ее речами, и он осознал, что это движение длится уже несколько времени. Возможно, на всем пути вниз по больничным лестницам. Блеклыми голубыми глазами и морщинистым долгим надгубьем она была схожа с кем-то, кого он знал много лет, но припомнить не мог — забавно. Боковыми ходами равнодушного узнавания пришел он к тому, чтобы определить ее в старшие сестры. Продолжение ее речей вошло в его существо, словно игла попала в дорожку. В дорожку на диске его сознания. Его сознания, которое закрутилось, едва он стал в проеме дверей и глянул вниз на ее запрокинутое лицо. Движение этих черт теперь озвучилось.

Слово, значившее «сражение», она выговаривала с северо-западным акцентом: «fakhtung» вместо «fahtung». Особа (мужеска пола?), с которой она была схожа, выглянула из тумана и спряталась, прежде чем он смог ее опознать — или его.

— Они продолжают сражаться, — говорила она, — ...темно и опасно. В городе темно, на улицах опасно. Право, вам лучше бы здесь провести ночь... В больничной кровати — (gospitalisha kruvka — снова этот

болотный акцент, и он ощутил себя тяжелой вороной — *krug*, помавающей крыльями на фоне заката). — Пожалуйста! Или хоть подождите доктора Круга, он на машине.

— Не родственник, — сказал он. — Чистое совпадение.

— Я знаю, — сказала она, — но все-таки вам не стоит не стоит не стоит не стоит (слово продолжало крутиться, уже истратив свой смысл).

— У меня, — сказал он, — пропуск, — и, открыв бумажник, он зашел так далеко, что развернул означенный документ дрожащими пальцами. У него были толстые (дайте подумать), неловкие (вот!) пальцы, всегда немного дрожавшие. Когда он что-нибудь разворачивал, щеки его засасывались снутри и еле слышно причмокивали. Круг, — ибо это был он, — показал ей расплывчатый документ. Он был огромный мужчина, усталый, сутулый.

— Но он же может не помочь, — заныла она, — в вас может попасть шальная пуля.

(Как видите, добрая женщина думала, что пули по-прежнему *flukhtung* в ночи — метеоритными осколками давно прекращенной пальбы.)

— Меня не интересуется политика, — сказал он. — Мне только реку перейти. Завтра зайдет мой друг, чтобы все подготовить.

Он похлопал ее по локтю и отправился в путь.

С наслаждением, присущим этому акту, он уступил теплomu и нежному нажиму слез. Облегчение было недолгим, ибо, едва он позволил им литься, они полились обильно и немилосердно, мешая дышать и видеть. В судорогах тумана он брел к набережной по мо-

щенной улочке Омибога. Попытался откашляться, но это вызвало лишь новую конвульсию плача. Он сожалел уже, что уступил искушению, потому что не мог взять уступку назад, и трепещущий человек в нем пропитался слезами. Как и всегда, он отделял трепещущего от наблюдающего: наблюдающего с заботой, с участием, со вздохом или с вежливым удивлением. То был последний оплот ненавистного ему дуализма. Корень квадратный из «я» равняется «я». Нотабенетки, незабудки. Чужак, спокойно следящий с абстрактного берега за течением местных печалей. Фигура привычная — пусть анонимная и отчужденная. Он видел меня плачущим, когда мне было десять, и отводил к зеркалу в заброшенной комнате (с пустой попугайной клеткой в углу), чтобы я мог изучить мое размываемое лицо. Он слушал, поднявши брови, как я говорил слова, которые говорить не имел никакого права. В каждой маске из тех, что я примерял, имелись прорезы для его глаз. Даже в тот самый миг, когда меня сотрясали конвульсии, ценимые мужчиной превыше всего. Мой спаситель. Мой свидетель. И Круг полез за платком, тусклой белой бирюлькой в глубине его личной ночи. Выбравшись наконец из лабиринта карманов, он промокнул и вытер темное небо и потерявшие форму дома; и увидел, что близок к мосту.

В иные ночи мост был строкой огней с определенным ритмом, с метрическим блеском, и каждую его стопу подхватывали и продлевали отражения в черной змеистой воде. В эту ночь что-то расплывчато тлело лишь там, где гранитный Нептун маячил на своей квадратной скале, каковая скала прорастала парапетом, каковой парапет терялся в тумане. Едва только Круг, степенно ступая, приблизился, как двое

солдат-эквилистов преградили ему дорогу. Прочие за-таились окрест, и, когда скакнул, словно шахматный конь, фонарь, чтобы его осветить, он заметил человека, одетого как meshchaniner [буржуйчик], стоявшего скрестив руки и улыбавшегося нездоровой улыбкой. Двое солдат (оба, странно сказать, с рябыми от оспы лицами) интересовались, как понял Круг, его (Круга) документом. Пока он откапывал пропуск, они понукали его поспешить, упоминая недолгие любовные шалости, коим они предавались, или хотели предаться, или Кругу советовали предаться с его матерью.

— Сомневаюсь, — сказал Круг, обшаривая карманы, — чтобы эти фантазии, вскормленные, подобно личинкам, на древних табу, могли и впрямь претвориться в дела, — и по самым разным причинам. Вот он (он едва не забрел незнамо куда, пока я беседовал с сиротой, — я разумею, с нянькой).

Солдаты сцапали пропуск, будто банкноту в сто крун. Пока они прилежно изучали его, Круг высморкался и неспешно вернул платок в левый карман пальто, но, поразмыслив, переправил его в правый, брючный.

— Это что? — спросил тот из двух, что потолще, царапая слово ногтем большого пальца, сжимавшего бумагу. Круг, держа у глаз очки для чтения, заглянул через руку.

— Университет, — сказал он. — Место, где учат разным разностям, ничего особенно важного.

— Нет, вот это, — сказал солдат.

— А, «философия». Ну это-то *вам* знакомо. Это когда пытаешься вообразить *mirok* [мелкий розоватый картофель] вне всякой связи с тем, который ты съел или еще съешь. — Он неопределенно взмахнул

очками и сунул их в их лекционный приют (в жилетный карман).

— Ты по какому делу? Чего слоняешься у моста? — спросил толстый солдат, пока его товарищ пытался в свой черед разобраться в пропуске.

— Все легко объяснимо, — ответил Круг. — Последние десять дней или около того я каждое утро ходил в больницу Принцина. Личное дело. Вчера друзья достали мне эту бумагу, ибо предвидели, что с наступлением темноты мост возьмут под охрану. Мой дом на южной стороне. Я возвращаюсь много позже обычного.

— Больной или доктор? — спросил солдат потоньше.

— Позвольте мне зачитать вам то, для выражения чего предназначена эта бумажка, — сказал Круг, протянув руку помощи.

— Я буду держать, а ты читай, — сказал тонкий, держа пропуск кверху ногами.

— Инверсия, — заметил Круг, — мне не помеха, но не помешают очки. — Он прошел через привычный кошмар: пальто — пиджак — карманы брюк — и отыскал пустой очешник. И намерился возобновить поиски.

— Руки вверх, — с истеричной внезапностью сказал толстый солдат.

Круг подчинился, воздев в небеса очешник.

Левая часть луны затенилась так сильно, что стала почти невидима в затоне прозрачного, но темного эфира, через который она, казалось, поспешно плыла, — иллюзия, созданная несколькими шиншилловыми облачками, подъезжавшими к луне; а правую ее сторону — чуть ноздреватую, но хорошо напудренную выпуклость или же щечку — живо освещало

искусственное на вид сияние незримого солнца. В целом эффект получился прекрасный.

Солдаты обыскали его. Они отыскивали пустую фляжку, совсем недавно вмещавшую пинту коньяку. Человек хотя и крепкий, Круг боялся щекотки, он несколько всхрюкивал и повизгивал, пока они грубо исследовали его ребра. Что-то скакнуло и стукнуло, стрекотнув, словно сверчок. Они нашли очки.

— Ладно, — сказал толстый солдат. — Ну-ка, подбери их, старый дурак.

Круг согнулся, пошарил, отшагнул — и страшно хрустнуло под каблуком его тяжелого ботинка.

— Каково положение, — сказал Круг. — И как же мы будем теперь выбирать между моей телесной неграмотностью и вашей духовной?

— А вот мы тебя арестуем, — сказал толстый солдат, — так ты враз кончишь ваньку валять, старый пропойца. А надоест нам с тобой возиться, кинем в воду и будем стрелять, пока не утопнешь.

Еще подошел солдат, лениво помахивая фонарем, и вновь мелькнул перед Кругом бледный человечек, стоявший в сторонке и улыбавшийся.

— И мне охота повеселиться, — сказал третий солдат.

— Вот так так, — сказал Круг. — Забавно встретить вас здесь. Как поживает двоюродный брат ваш, садовник?

Новоявленный — неказистый и румяный деревенский малый — взглянул на Круга пустыми глазами и указал на толстого солдата.

— Это его брат, а не мой.

— Ну разумеется, — быстро сказал Круг. — Я, собственно, его и имел в виду. Так как же он, этот

милый садовник? Вернулась ли в строй его левая нога?

— Мы с ним давно не видались, — грустно ответил толстый солдат. — Он поселился в Бервоке.

— Отличнейший малый, — сказал Круг. — Мы все так жалели его, когда он свалился в гравийный карьер. Так передайте ему, раз уж он существует, что профессор Круг частенько вспоминает беседы с ним за кувшином сидра. Будущее всякий может создать, но только мудрый способен создать прошлое. Дивные яблоки в Бервоке.

— Тут его пропуск, — сказал нервный толстяк деревенскому здоровяку, который робко принял бумагу и сразу вернул назад.

— Позови-ка лучше того ved'mina syna [сына колдуньи], — сказал он.

Тогда-то и вывели вперед бледного человечка. Он, похоже, впал в заблуждение, что Круг как-то начальственнее солдат, потому что начал плакаться тонким, женским почти что голосом, рассказывая, что он и брат его, у них бакалейная лавка на том берегу, и что оба они чтят Правителя с благословенного семнадцатого числа того месяца. Повстанцы, слава богу, раздавлены, и он желает соединиться с братом, чтобы Народ-Победитель смог получить деликатесы, продаваемые им и его тугоухим братом.

— Кончай, — сказал толстый солдат, — и прочти нам вот это.

Бледный бакалейщик повиновался. Комитет Гражданского Благосостояния жаловал профессора Круга полной свободой обращаться с наступлением темноты. Переходить из южного города в северный. И назад. Чтец пожелал узнать, нельзя ли ему проводить

Набоков В.

Н 14 Под знаком незаконнорожденных : роман / Владимир Набоков ; пер. с англ. С. Ильина. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. — 288 с. — (Азбука Premium. Русская проза).

ISBN 978-5-389-12657-2

«Под знаком незаконнорожденных» (1941–1946, опубл. 1947) — второй англоязычный роман Владимира Набокова и первый из написанных им в Америке. Действие книги разворачивается в неназванном полицейском государстве, где правит партия «эквилистов» (уравнителей) во главе с диктатором Падуком. Главный герой — в прошлом одноклассник Падука, а ныне всемирно известный философ Адам Круг, тяжело переживающий смерть жены и нежно привязанный к маленькому сыну Давиду, — пытается остаться непричастным к деятельности тоталитарного режима. В свою очередь диктатор, стремясь добиться от Круга публичной поддержки своей власти, арестовывает одного за другим его друзей и знакомых, а затем разлучает с сыном...

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ВЛАДИМИР НАБОКОВ
ПОД ЗНАКОМ
НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫХ

Ответственный редактор Сергей Антонов
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Татьяны Якутович
Корректор Маргарита Ахметова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 19.01.2017. Формат издания 84 × 108^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 15,12. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors



AAUP2075301R